# СПОРНОЕ ПРИЗНАНИЕ

## 1

Осуждение Толстого было повсеместным. В высших сферах, близких ко двору, новые главы романа воспринимались как нечто ненужное, как продолжение рассказа, который уже однажды отказывались дослушать до конца. Повторяли эпиграмму Вяземского:

«Войны и мира» часть седьмая.
Благодарю, не ожидал . . .

В то время как либеральная критика взвешивала исторические и эстетические вопросы, не решаясь ни признать, ни отвергнуть роман Толстого, леворадикальная печать с ним совершенно покончила и рассчиталась. Вышло так, что роман оказался не нужным никому (кроме читателей!)... Ни одна из журнальных партий не заявила на него исключительных прав.

Шелгунов положительно готов был уступить «Войну и мир» славянофилам. «Струйке народности, проходящей через роман, мы не можем не сочувствовать, — писал он, — но зачем же впадать в крайность, и от народа переходить к славянофилам?». «Сумбур славянофильства», по его мнению, мог заинтересовать только приверженцев этого учения.

Но Толстой в одном из писем к Страхову говорил: «Народность славянофилов и народность настоящая — две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света» (61, 278). Это была формула расхождения — «эфир серный» и «эфир всемирный», — столь характерная для Толстого эпохи «Войны и мира».

И хотя Толстой занимает своеобразную и независимую позицию, славянофильская критика сделала попытку подобрать брошенный всеми роман. Это был обдуманный и умный ход. И заслуга здесь целиком принадлежала известному в свое время критику Николаю Николаевичу Страхову (1828—1896), который благодаря статьям о «Войне и мире» укрепил свое имя в литературном мире и сблизился с Толстым.

Статьи Страхова о «Войне и мире» печатались в журнале «Заря»[78]. В тех же номерах, отдельными очерками, публиковалась книга Н. Данилевского «Россия и Европа», что вполне характеризовало направление журнала. «Зарю» издавал ныне забытый литератор Василий Владимирович Кашпирев (1836—1875). Он придерживался идей славянофильского склада.

В одном из первых номеров «Зари» было напечатано стихотворение «Цветики», авторство которого приписывали Кашпиреву. В этом стихотворении программа журнала получила аллегорическую форму, что и подало повод для иронии: «Цветики только тогда и благодушествуют, тогда и разливаются в неге, когда на них повевает отрадный восточный азиатский ветерок; а чуть немножко пахнет с Запада, то цветам гибель, гибель неминуемая...»[79]. Возможно, что название журнала было почерпнуто из стихов Хомякова: «Заря! Тебе подобны мы — смешенье пламени и хлада, смешение небес и ада, слияние лучей и тьмы».

Статьи о «Войне и мире» написал для «Зари» критик и публицист Страхов, один из ревностных защитников «почвенничества», провозглашенного Аполлоном Григорьевым в журнале Достоевского «Время». Тот «восточный дух», который возмущал Шелгунова как публициста «Дела», в «Заре» получил восторженное толкование. Впоследствии Страхов свои публицистические статьи по разным вопросам объединил в книге «Борьба с Западом в нашей литературе». И защита Толстого была для него одной из форм «борьбы с Западом».

При этом надо иметь в виду, что «Запад» был в критике тех лет, в равной степени, например, для Шелгунова и для Страхова источником революционных и демократических веяний. Так что борьба Страхова с Западом была продолжением ожесточенной полемики с нигилистами в русской литературе.

Русская демократическая литература, и прежде всего критическая литература, «натуральная школа», «Современник» и «Отечественные записки», не говоря уже о журнале «Дело», по мысли Страхова, была оторвана от «родной почвы», забыла о «вечных идеалах» и «смиреномудрии» народа. «Люди с оттенком нигилизма не только указывают на Запад, но и подражают ему в своих писаниях, усердно переводят его книги, горячо проповедуют его учение», — писал Страхов в статье «О характере нашего времени»[80].

---

[78] См.: Страхов Н. Н. «Война и мир», т. I, II, III и IV. Статья первая. — «Заря», 1869, № 1, с. 123—152; «Война и мир», т. I, II, III и IV. Статья вторая и последняя. — «Заря» 1869, № 2, с. 207—252. Другие заметки Страхова на ту же тему: Литературная новость (о появлении V тома). — «Заря», 1869, № 3, с. 199 — «Война и мир», т. V и VI. — «Заря», 1870, № 1, с. 108—142. Издавая свои статьи отдельной книгой, Н. Н. Страхов предпослал им предисловие «Несколько слов к статьям о «Войне и мире» (см.: Страхов Н. Н. Критический разбор «Войны и мира». Спб., 1871).

[79] «Заря», 1869, № 3, с. 204.

[80] Страхов Н. Критические статьи. Киев, 1902, с. 101.

В этом сказывался «характер времени». И вот почему для Страхова так трудна была «борьба с Западом», потому что это была борьба против русской демократии и русской революции, которая после 1861 года неотвратимо двигалась к 1905 году.

Страхов сердился на историю, досадовал, что «литература нигилистического оттенка непрерывно нарастает», а «все другие направления в нашем умственном мире работают разрозненно». Журнал «Заря» и должен был придать воодушевление антинигилистической литературе, указать ей «прямой и ясный путь»[81].

Но журнал не имел успеха. И тон статей в этом журнале по преимуществу обиженный. Это был лидер, ожидавший увидеть множество последователей, а увидевший, что он остался в одиночестве. И тогда «Заря» повела борьбу за авторитеты. В этом смысле Толстой представлял для Страхова редкую находку. Он хотел вручить ему знамя «Зари».

Страхов был очень вкрадчивым и осторожным тактиком. Толстой однажды сравнил его с сильным и умным зверем, который «рвет свою добычу мягкими лапами». Писатель с большим интересом следил за Страховым и чем больше узнавал его и его односторонний взгляд «суда и осуждения» современности, тем дальше отходил от него.

Но интерес к Страхову возник у Толстого именно в те годы, когда в «Заре» печатались статьи о «Войне и мире», хотя Толстой сразу почувствовал «серный эфир» узкого «кружка», собравшегося в этом журнале.

## 2

Страхов начал с самого главного — с того, что «Война и мир» отвергнута всеми журналами — от «Русского вестника» до «Дела».

«Возьмите появление «Войны и мира». Какое неожиданное, ошеломляющее впечатление! Кто был готов к этому произведению? Кто понял его, как следует?»[82]. Ответ был очевидным: никто.

«С одной стороны, — продолжает Страхов, — великое произведение гр. Л. Н. Толстого подобно некоторой бомбе обрушилось в нигилистический муравейник — и этот муравейник до сих пор не может придти в себя, не постигая, что за предмет их давит, и не имея возможности ни обозреть этот предмет своими крошечными глазами, ни искусать его своими крошечными челюстями. С другой стороны, такой заслуженный журнал, как «Русский вестник», не только не сумел в этом случае победить свое обыкновенное равнодушие и высокомерие относительно русской литературы, но даже — credite posteri:[83] — ничего лучшего не нашел сказать по

---

[81] Там же.

[82] О Страхове как литературном критике см.: Гуральник У. Страхов — литературный критик. — «Вопросы литературы», 1972, № 7.

[83] «Верьте, потомки!» (лат.).

поводу «Войны и мира», как обвинить гр. Л. Н. Толстого в каком-то историческом нигилизме».

Журнальную полемику о «Войне и мире» Страхов называет «сумятицей». Но эта сумятица была основана вовсе не на эстетических заблуждениях, а на противоборстве политических тенденций, выраженных в определенных журнальных публицистических принципах. И в этом отношении весьма показательна и литературная критика Страхова, которая была неотделима от его публицистики, хотя он очень часто повторял жреческие формулы «чистого искусства». Страхов не скрывал своей неприязни к радикальной журналистике и торжествовал, видя, что роман Толстого был решительно отвергнут «нигилистами». Он сожалел о том, что «консерваторы» из «Русского вестника» обвинили Толстого в «историческом нигилизме». В журнальной борьбе 60-х годов ему был ближе «катковский берег», но он как представитель почвенничества не отказывался от полемики с крайними реакционерами. Поэтому его выступления были направлены и против публицистики «Дела», и против литературной и исторической критики «Русского вестника».

Приступая к разбору «Войны и мира» с опозданием, когда уже все крупнейшие журналы успели высказаться, Страхов воспользовался некоторым преимуществом если не последнего, то во всяком случае последующего суждения. Он сослался на мнение Берви-Флеровского о том, что Толстой — это «забытый писатель», и указал на огромный, невиданный успех его произведения у читателей. В то время как критика «вычеркивала «Войну и мир» из списка», читатели сами решили спор в пользу Толстого. Из этого и исходит Страхов. С этого он и начинает свои статьи. Это был для него «факт», требующий внимания и разбора.

«Появилось одно из лучших произведений нашей литературы — «Война и мир», — писал Страхов. — Успех его был необыкновенный. Давно уже ни одна книга не читалась с такой жадностью. Это был успех самого высокого разряда. «Войну и мир» внимательно читали не только простые любители чтения, до сих пор восхищающиеся Дюма и Февалем, но и самые взыскательные читатели, — все, имеющие основательное или неосновательное притязание на ученость и образованность: читали даже те, которые вообще презирают русскую литературу и ничего не читают по-русски... Ни одно из наших классических произведений — из тех, которые не только имеют успех, но и заслуживают успеха, — не расходилось так быстро и в таком количестве экземпляров, как «Война и мир».

В романе Толстого Страхов видел развитие и продолжение традиций Пушкина. «Есть в русской литературе классическое произведение, с которым «Война и мир» имеет больше сходства, чем с каким бы то ни было другим произведением, — отмечает Страхов. — Это — «Капитанская дочка» Пушкина. Сходство есть и во внешней манере, в самом тоне и предмете рассказа; но главное сходство — во внутреннем духе обоих произведений». Этим сопо-

ставлением Страхов сразу выводил разговор о «Войне и мире» из русла текущей литературной хроники и критики. Он выбрал историко-литературный аспект, в котором должны были проясниться не временные только, а исторические, вечные черты толстовского романа и его значения для русской литературы.

Нужна была большая смелость для того, чтобы среди почти всеобщего осуждения утверждать, что новый роман Толстого ставит его в один уровень с Пушкиным. И такая смелость у Страхова была. «Война и мир, — писал он, — есть произведение гениальное, равное всему лучшему и истинно-великому, что произвела русская литература. Каждый читавший и уразумевший не может не чувствовать, что такие сцены, как свидание Наташи с князем Андреем, встречи Николая Ростова с княжною Марьею в Воронеже, смерть князя Андрея, Кутузов, получающий весть об оставлении Москвы французами, и пр. — суть сцены бессмертные».

Что нового внес Страхов в трактовку романа? Прежде всего он увидел в «Войне и мире» героическую историю России. Страхов верно понял мысль Толстого о необходимости преобразования в новейшей реалистической литературе самого понятия героического.

«Древние оставили нам образцы героических поэм, в которых герои составляют весь интерес истории, и мы все еще не можем привыкнуть к тому, что для нашего человеческого времени история такого рода не имеет смысла», — пишет Толстой.

Отношение его к «героическим поэмам» было точно таким же, как его отношение к «истории великих личностей». «Он хочет, чтобы мы отвыкли от этих ложных представлений и для этого дает нам истинные представления, — пишет Страхов. — На место идеального мы должны получить реальное. Где же искать героической жизни? Конечно, в истории... Толстой взял громадные исторические события, страшную борьбу и напряжение народных сил, для того, чтобы уловить высшие проявления того, что мы называем героизмом?».

С этой точки зрения он разбирает характеры Андрея Болконского, Пьера Безухова, Николая Ростова. «Главная мысль, которою он руководствуется при изображении героических явлений, состоит в том, чтобы открыть их человеческую основу, показать в героях — людей». «Таким образом, в крупных и ясных чертах изображена нам Россия 1812 года, как масса людей, которые знают, чего от них требует их человеческое достоинство, — что им следует делать по отношению к себе, к другим людям и к родине».

Страхов проницательно сопоставил характеры Кутузова и капитана Тушина как воплощение некоторых общих и глубоких особенностей народного характера.

— «Каким образом в центре оставлены два орудия?» — спросил Багратион после Шенграбенского сражения.

«На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда, при виде начальства, Тушин не рассмотрел древка знамени и спотыкнулся на него. Несколько голосов засмеялось... Что

прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника и молча, остановившимися глазами, смотрел прямо в лицо Багратиону...» (9, 242).

Андрей Болконский выводит Тушина из нового опасного затруднения. Он одинаково смело идет «дорогой чести» и под выстрелами на поле боя, и в штабной избе.

«Ваше сиятельство, — прервал князь Андрей молчание своим резким голосом, — вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина. Я был там и нашел две трети людей и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными и прикрытия никакого.

Князь Багратион и Тушин одинаково упорно смотрели теперь на сдержанно и взволнованно говорившего Болконского.

— И ежели, ваше сиятельство, позволите мне высказать свое мнение, — продолжал он, — то успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой, — сказал князь Андрей и, не ожидая ответа, тотчас же встал и отошел от стола» (9, 243).

Повесть о капитане Тушине ближе всего к пушкинскому идеалу простоты и правды. Этот отрывок из эпопеи Толстого имеет свою завершенность в художественном и психологическом отношении. Вместе с тем это был ответ Толстого на вопрос о том, кто является настоящим «деятелем истории», когда речь идет о великих событиях народной жизни.

## 3

В статьях Страхова впервые и не шутя Толстой был назван великим писателем. С появлением «Войны и мира» «невольно чувствуется и сознается, что русская литература может причислить еще одного к числу своих великих писателей». К этому Страхов еще добавил: «Кто умеет ценить высокие и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и укреплять свою душу созерцанием ее произведений, тот пусть порадуется, что живет в настоящее время».

До Страхова так еще никто и никогда не писал о Толстом. Страхов утверждал, что новая книга получит со временем, когда все уразумеют ее содержание, мировое значение. «Всмотритесь, вчитайтесь, попробуйте обозреть весь рассказ, как одно целое, — впечатление будет усиливаться и возрастать по мере вашего внимания и изучения. Какая громада и какая стройность! Ничего подобного не представляет нам ни одна литература!». Сильная сторона статей Страхова о «Войне и мире» состоит именно в том, что он судил о ней не по частям, а в целом. Поэтому он выбрал верное направление в разборе романа.

Кажущаяся эпизодичность пространного романа, с многочисленными и обширными философскими и историческими отступлениями, его нимало не смущала. Страхов доказывал, что можно и

нужно исследовать художественную структуру толстовского повествования как нечто завершенное, органически целое, в котором нет ничего «лишнего», случайного, незначительного. «Ведь гр. Л. Н. Толстой есть поэт в старинном и наилучшем смысле этого слова», — утверждал Страхов. Поэтому в своем романе он «не отступил от своего безмерно-широкого плана, не опустил ни одного существенного момента и довел свой труд до конца без всякого признака изменения в тоне, взгляде и в приемах и силе творчества. Дело поистине изумительное».

После Пушкина ничего подобного в русской литературе не было. В «Войне и мире», — писал Страхов, — мы опять нашли свое героическое, и теперь его уже никто от нас не отнимет». Героика у Толстого освещена народным взглядом на жизнь и историю. «Итак, какой же смысл «Войны и мира»? Всего яснее, нам кажется, этот смысл выражается в тех словах, которые мы поставили эпиграфом: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды».

В этих словах — разгадка характера Кутузова, источник осуждения Наполеона, внутреннее содержание истории Отечественной войны 1812 года. Роман Толстого был современным и в то же время глубоко народным историческим произведением. «Это действительно неслыханное явление — эпопея в современных формах искусства».

Однако от Пушкина Страхов постепенно поворачивал к Аполлону Григорьеву, к тому истолкованию «Повестей Белкина», которое было дано когда-то в журнале «Время». Аполлон Григорьев, как известно, находил у Пушкина два основных психологических типа: «смиренный человек» — Белкин и «хищный тип» — Сильвио. Все сочувствие Аполлона Григорьева как критика «почвенническое направления» было на стороне «смирного типа». Он считал этот характер не только поэтически «идеальным», но и истинно «народным».

Страхов разделял всех героев русской литературы на «своих» и «чужих». К «чужим типам» он относил «типы блестящие или мрачные, во всяком случае, сильные, страстные» или, как выражался Аполлон Григорьев, «хищные». «Русская же натура, — писал Страхов, — наш душевный тип явился в искусстве, прежде всего, в типах простых и смирных».

Он доказывал, что «наша художественная литература представляет непрерывную борьбу между этими типами.., то развенчание, то превознесение одного из двух типов, хищного и смирного». И разбор «Войны и мира» Страхов хотел привести в соответствие с этой парадоксальной схемой Аполлона Григорьева.

К пушкинскому типу Ивана Петровича Белкина, к Максиму Максимычу из лермонтовского романа теперь можно было прибавить еще характер капитана Тушина. Но вот вопрос: куда девать Андрея Болконского, например? Отнести его к типам «блестящим или мрачным», то есть к «не-нашим»?

«Везде жизнь оказывается шире бедных логических соображений, — заметил Страхов относительно «Войны и мира», — и поэт

превосходно показывает, как она обнаруживает свою силу помимо воли людей».

Теперь он сам со своими «логическими соображениями» оказался перед широким, как жизнь, романом. И роман стал «обнаруживать свою силу», разрушая рамки схемы. Страхову воспротивился сам Толстой.

Он воспротивился такому предвзятому истолкованию не только своего романа, но и всей русской литературы. «Война и мир» — это «апотеоза смирного русского типа» — утверждал Страхов. Здесь он как бы прощался с историей и переходил в область «мифов» и «философических» легенд.

Григорьев говорил в свое время, что творчество Толстого (до «Войны и мира») было явлением, «пропущенным критикой». Теперь Страхов доказывал, что и «Война и мир» есть явление, «пропущенное критикой».

У Страхова была своя определенная цель. Он хотел бы изъять Толстого из ведения «теоретиков», как Григорьев называл публицистов «Современника», и приобщить его к литературным мечтаниям «Зари».

Многое из сказанного Страховым о «Войне и мире» было справедливым, но его главная цель не была достигнута. Толстой отказался принять из его рук знамя «Зари».

## 4

Страхов как старый «борец против Запада» стремился доказать, что хищный тип — это прежде всего западный тип, а смиренный характер — чисто русское явление. «Ап. Григорьев, — пишет Страхов, — заметил в нашей литературе появление лиц, представляющих в своей натуре это различие, и называл их двумя различными типами, хищным и смиренным... Весь рассказ «Войны и мира» как будто имеет целью доказать превосходство смирного героизма над героизмом деятельным, который повсюду оказывается не только побежденным, но и смешным, не только бессильным, но и вредным». Однако все же в романе Толстого речь идет о войне, об Отечественной войне. И само выражение «смирный героизм» было парадоксом.

«Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупою простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие» (12, 120—121).

Какое уж тут «смирение» или «неделание»!

Страхов не только не замечал этого, но и старался самого Толстого представить смирным писателем в противовес нигилистам, исчадиям «хищного Запада». Прежде всего он доказывал, что «Война и мир» не обличительное, а поэтическое произведение, полное созерцательности и идеальности. Ошибку консервативных кри-

тиков, ошибку Норова и Щебальского он видит в том, что они задали тон в трактовке книги Толстого в духе современной публицистики. «Следуя такому взгляду, — иронически пишет Страхов, — мы могли бы порадоваться появлению нового обличителя и сказать: гр. Л. Н. Толстой есть обличитель военных...».

Он решительно отделяет Толстого от Тургенева, Островского, Некрасова. Они — обличители и реалисты, а Толстой — реалист-психолог и поэт. «Реализм реализму рознь... — пишет Страхов. — Гр. Л. Н. Толстой — не реалист-обличитель ... Все внимание его устремлено на душу человеческую». Он защищал Толстого не только от Норова, но и от обличительной литературы, и от реализма, и от действительности. Толстой должен был в глазах Страхова стать художником, чистым от веяний и влияний «Современника».

«Творчество нашего художника, — утверждал Страхов, — достигает своей высшей силы там, где оно касается вечных, непреходящих интересов души человеческой». «Вечное и непреходящее» противопоставлено здесь «потребностям настоящей минуты». Таким образом, и сам Толстой начинает казаться «схематичным писателем». Это была большая натяжка, но в духе Страхова.

Тогда Толстой решил сам объяснить Страхову некоторые особенности своего отношения к жизни. И оказалось, что он совершенно не разделяет схематического разделения людей на «хищные» и «смирные» типы, по системе Аполлона Григорьева. «Я совсем не согласен с вами о делении людей на деятельных и пассивных и о том значении, которое вы придаете тем и другим. Виноват, но я слышу тут отголосок неудавшейся мысли Григорьева о хищных и смирных типах, которой я никогда не понимал. Самое деление неправильно» (62, 236).

Народное, по мысли Толстого, было деятельным и сильным. И слово «хищный» как осуждение тут ни при чем. И в Отечественной войне не смирным героизмом, а деятельным подвигом была освобождена Россия от нашествия. В «Войне и мире» действуют разнообразные характеры, которые никак невозможно уложить в эти два типа. Об этом и писал Толстой в своем письме Страхову.

«Противоположное смирному есть бунтующий или горящий, но не хищный», — писал Толстой. А в его романе, по существу, преобладала горящая стихия народного сопротивления и гнева. «Главное же, самая мысль неверна, — продолжал он. — Тут вы платите дань, несмотря на ваш огромный, независимый ум, дань Петербургу и литературе...». Данью литературе Толстой считал, по-видимому, и старые теории относительно «смирного мужичка», «нетронутой почвы», «непочатых сил», «хоровых начал»...

Толстой не разделял преклонения Страхова перед пассивностью, созерцательностью, «смирным героизмом». «Это только в литературе, — говорил он. — А в (маленькой штучке) в жизни? Кто пашет, сеет, нанимает, торгует, распределяет деньги, ездит, набирает солдат, командует, главное, рожает и воспитывает себе подобных и лучших? Все недеятельные, пассивные люди. Это совсем, совсем неверно» (62, 236—237).

Статьи Страхова о Толстом были несомненным признанием исторического и эстетического смысла «Войны и мира». Но это было спорное признание. Толстой со многим, именно с тем что было главным для Страхова, не согласился. В предисловии к отдельному изданию своих статей о романе Толстого Страхов сказал: «Кажется легко понять, что не «Войну и мир» будут ценить по вашим словам, а вас будут судить по тому, что вы скажете о «Войне и мире». Возможно, что он имел в виду и самого себя...

С. А. Толстая отметила в своем дневнике, что Толстой, несмотря на несогласие со Страховым, очень внимательно читал его статьи и находил в них много верных и тонких наблюдений. «Это единственный человек, — говорил Толстой, — который никогда не видавши меня, так тонко понял меня» [84]. Страхов первым обратил внимание на слова Толстого, которые являются ключом к его роману: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Этим Страхов указал верный путь для последующих критиков и историков литературы.

Кроме того, он первый заговорил о мировом значении романа Толстого, о пушкинских традициях в «Войне и мире». И это тоже было новое и важное слово в критике. «Страхов своей критикой придал «Войне и миру» то высокое значение, которое получил мой роман и на нем остановился навсегда», — сказал Толстой [85]. И это лучшее, что можно сказать о статьях Страхова и их значении в журнальной полемике 60-х годов.

Как человек и критик Страхов был очень восприимчив. Он внимательно изучил и как бы вжился в философию Толстого. Страхов был первым критиком, который заговорил о том, что действительно есть в романе. Вот главная причина его успеха. Зато и Толстой сразу отметил в замысле Страхова то, чего не было в его романе. Толстой был самобытным мыслителем и очень дорожил своей независимостью.